Как я знал М.Л.Магницкого

Иван Иванович Лажечников

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Произведение мемуарного цикла «Как я знал Магницкого» повествует о состоянии Казанского университета и вместе с тем, благодаря особенностям манеры Лажечникова-мемуариста, любящего «боковые ходы», отступления по ассоциациям, дает картину культурной жизни в последние годы царствования Александра I.

В центре очерка — фигура Михаила Леонтьевича Магницкого (1778-1855), в описываемое время — попечителя Казанского учебного округа.

И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989

Примечания Н.Г.Ильинская

Впервые напечатано: Русский вестник. 1866. № 1.

- Иван Иванович Лажечников
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
- comments
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6

Иван Иванович Лажечников
Как я знал М.Л.Магницкого

С каким удовольствием принимаешься за перо, когда хочешь изобразить личность, оставившую по себе светлый след на земле, какому бы роду служения отечеству или человечеству ни посвятила она себя. Потомство поминает его имя с благоговейною благодарностью; отец приводит сына поклониться его могиле и научиться на ней урокам чести и долга. Это имя звучит так гармонически, согревает сердце таким благодатным огнем. Напротив того, с каким тяжелым чувством приступаешь к изображению человека, который, будучи одарен лучшими дарами природы и воспитания и имея в руках своих средства разливать добро и свет на все его окружающее, употребил во зло эти дары для удовлетворения одних своих страстей.

Обстоятельства поставили меня в близкие отношения к М.Л.Магницкому, когда он стоял на вершине своего служебного поприща и во время его падения; я пользовался его горячим, порывистым благорасположением, слыл даже лет пять его любимцем и испытал столь же порывистое недоброжелательство, которого настоящую причину не мог никогда знать. Таков он был во всех своих действиях. То, что я буду рассказывать о нем на немногих страницах, сколько память не изменит мне, может служить дополнением к статье г. Феоктистова, помещенной в «Русском вестнике» 1864 года, и новыми материалами для истории просвещения России. Предупреждаю, что я по пути моего рассказа буду иногда разбрасывать заметки, хотя и отступающие зигзагами от главного предмета моего рассказа, но которые могут быть интересны, как обрисовывающие тогдашнюю эпоху, или поучительны для нынешних современников. Неминуемо придется мне часто говорить о себе.

Оставив в 1820 году военную службу, я стал, следуя своим наклонностям, искать места по учебному ведомству. Бывший мой начальник, граф Остерман-Толстой, перед отъездом своим в чужие края, письменно просил тогдашнего попечителя Харьковского учебного округа Карнеева, доставить мне место директора училищ в этом округе. Между тем, в ожидании ответа, который несколько замедлился, дали мне знать, что в Казанском округе открылась вакансия директора пензенских училищ, и советовали мне прямо обратиться к попечителю округа М.Л.Магницкому. Этот совет был приправлен разными жаркими похвалами лицу, к которому я должен был адресоваться.

Магницкий был тогда лицо сильное, пользовавшееся неограниченною доверенностью министра духовных дел и народного просвещения, князя А.Н.Голицына[1], отогревшего его у сердца своего от невзгод, его поразивших, в одну и ту же грозу, павшую на голову Сперанского. Я слыхал о Магницком, как о человеке острого, высокого ума, с необыкновенно увлекательным даром слова, изустным и письменным, с блестящим научным образованием (он получил воспитание в благородном пансионе при Московском университете, где имя его красовалось золотыми буквами). Чарующая известность дружеского расположения к нему Сперанского придавала еще больше блеска его имени.

Вооруженный аттестатом моего бывшего начальника, копией с письма его к попечителю Харьковского учебного округа и официальным письмом статс-секретаря Н.М.Лонгинова[2]{1}, при котором прислан мне был Высочайший подарок за посвящение имени государыни Елисаветы Алексеевны моих «Походных записок», я явился к Магницкому. Он, по-видимому, жил очень скромно; единственный слуга его тотчас доложил обо мне, и я тотчас был принят в кабинете. Предо мною предстал человек высокого роста, с привлекательною наружностью, с голубыми, умными глазами, с приветливою речью. Он выслушал мою просьбу, быстро рассмотрел мои бумаги, сделал мне несколько вопросов о моих религиозных убеждениях (я был заранее предупрежден, что мне предстоит этот искус, но не имел нужды лицемерить), проницательно посматривая на меня и, как мне казалось, прислушиваясь к моему голосу, будто бы испытывал меня в искренности моих ответов, и наконец сказал мне: «Признаюсь, ваша молодость несколько смутила было меня, но рекомендация лиц, мною уважаемых, и ваши религиозные правила, в которых не сомневаюсь, ручаются мне, что вы будете руководить юношество по истинному пути, и потому извольте поскорее подавать просьбу. Раз убежденный, я не люблю мешкать». На другой день пошло обо мне представление к министру и, как нарочно, встретилось с представлением попечителя Харьковского учебного округа об определении меня директором училищ Херсонской губернии, вследствие чего министр велел спросить меня, на какое именно место желаю быть определен. Я предпочел Пензу, как город ближайший к Москве, имеющий более здоровую местность, нежели Херсон, и представляющий мне ту выгоду по службе, что я знал уже лично моего будущего начальника, которым я тогда, еще очень молодой человек, подчиняющий свои соображения первым чистым впечатлениям, очаровался. К тому же, Магницкий, как я сказал, был в то время сила, обещавшая сделать много хорошего для

вверенного ему округа.

Это было время мистического настроения общества, у одних искреннего, у других притворного, из угождения или подражания сильным лицам. Начиная с первого камня того дивного храма, который задуман был в гениальной голове Витберга[3]{2}, но не мог быть осуществлен по причинам от него не зависевшим, и сколько могли определить слухи, тогда носившиеся, будто по недоброжелательству графа Аракчеева к князю А.Н.Голицыну, покровителю художника, — начиная с этого камня и продолжая поэтическими экстазами г-жи Криденер[4], разными тайными и открытыми обществами, масонскими ложами и оргиями, описанными в «Воспоминаниях» Вигеля[5], все тогда было запечатлено религиозным и политическим мистицизмом. Несмотря, что все эти общества основывались для усовершенствования рода человеческого, люди не делались лучше. Взяточничество было в полном разгаре; все было продажное: места, жена, убеждения, обязанности...

Не могу не упомянуть при этом случае, что за два года до описываемого времени, именно при открытии первого сейма Варшавского, я едва не был увлечен в лоно масонства одним из самых горячих его адептов. И кто бы, вы думали, был он? Лукашевский, основатель, вместе с Мохнацким, масонских лож в Царстве Польском и Литве, в которых уже и тогда заготовлялись те горючие материалы, ожидавшие только первой брошенной в них искры, чтобы произвести пожар будущей революции. И эти материалы готовились уже в то самое время, когда великодушный русский император так доверчиво сыпал свои благодеяния на поляков, в то время когда они прижимали нас, русских, к своему сердцу как родных братьев. Да, мы и были братья, но можно заключить из последовавших обстоятельств, кто из нас играл роль Авеля, кто Каина. Мы и тогда подозревали, что в лобзаниях их скрывается яд — Мицкевичева Мавра, сказал бы я, если бы «Валленрод» был тогда написан. Еще в 1816 году, на возвратном походе из Франции, мы, субалтерн-офицеры, хотя и не дипломаты, смутно постигали, что творится что-то недоброе, когда отрывали от знамени русского и переводили из рядов наших в новоформируемую польскую армию всех польских уроженцев, уже сроднившихся с нами и обрусевших, и таким путем образовали две отдельные армии, два отдельные народа{3}. Так-то иногда в низших классах народа чуют инстинктивно наступающую политическую грозу, когда в высших сферах о ней и не помышляют. Что успела было мудрая Екатерина спасти в приобретенных русскою кровью западных губерниях, то разрушилось новейшими распоряжениями. Я познакомился с

Лукашевским в Пасху в дворцовой квартире С., лица хоть не высокого, но приближенного к государю, неразлучно с ним находившегося во всех его путешествиях, ревностного царского слуги, готового при случае положить за него свою голову. Как пробрался к нему Лукашевский, простой армейский офицер (едва ли не поручик), без всяких преимуществ породы и заслуг, как втирался он в среду императорской свиты, не могу понять. Вероятно, доставляли ему этот доступ сильные при дворе люди из поляков, чтобы выведывать чрез него в избранном кружку нужные им сведения от простячков-москалей, которые могли бы попасться на эту удочку. Сколько могу теперь припомнить, это был офицерик небольшого роста, с черными, узенькими бакенбардами, стянутый по-тогдашнему в рюмочку, не обещавший по своей наружности и нескромным речам политического деятеля, вертлявый, краснобай. Моя ли физиономия ему понравилась, или внимание, с которым я слушал его, он избрал меня из среды кружка, собравшегося у С., чтоб обворожить своею заманчивою речью. Мало-помалу он стал мне хвалить славное, святое учреждение масонства, пересыпая эту речь словами: «любовь к человечеству, братство, познание великой истины, скрывающейся от глаз непосвященных, достижение разных благ и чуть ли не отыскание философского камня», — говорил, что в наше время стыдно порядочному человеку не быть членом этого великого учреждения. В довершение он предлагал ввести меня в одну из варшавских масонских лож. Все это открыто говорилось при многих свидетелях, чему я не удивлялся, потому что таков был дух времени, такова была тогда мода на масонство, и я знал, что многие из наших генералов, даже первенствующих, принадлежали к нему. Не скрою, что я поддался было обаянию красноречивых убеждений моего собеседника; но, образумившись от первого впечатления и сообразив, что не очень надо было доверять незнакомому мне поляку, я отвечал, что, судя по его словам, выхваляемое учреждение действительно должно быть прекрасно, но чувствую, что я еще не дозрел для него; что я не хочу налагать на себя обязательства, которые, может быть, не в силах буду исполнить, или которые могут быть противными моему долгу; что если вздумаю когда-нибудь вступить в масонство, так сделаю это в своем отечестве. Признаюсь, этому решению много содействовали лукавые усмешки и знаки, какие делал мне из-за плеч моего искусителя хозяин квартиры, человек бывалый, тертый калач. Мы трое представляли тогда три народности: один лукавого поляка, прошедшего иезуитскую школу, другой — хитрого малороссиянина, я простодушного

русачка. Так мы и расстались. Я встретил еще раз Лукашевского в кофейной; здесь он был осторожнее в речах. После того я уже никогда с ним не видался и совершенно забыл о нем. Но, читая в прошедшем году «Историю польской революции 1830 года» Смита, я немало изумился, встретив в ней имя майора Лукашевского, как одного из зачинщиков этой революции.

Я приехал в Пензу в самый разгар библейских обществ. Губернией управлял тогда Ф.П.Лубяновский[6] (ныне маститый сенатор). Он принял меня с обычною своею любезностью, обещал мне быть полезным, чем может, по моей должности и тотчас предложил меня в члены губернского библейского общества. Вслед за тем я должен был открыть отделение общества для гимназии. Цель была прекрасная, но, как у нас делалось, все заботы членов ограничивались одною наружною деятельностью, формализмом, без всякого разумного сочувствия к делу. О миссионерстве, как в чужих краях, о распространении нравственно-религиозных понятий в народе, не было и помину. О том, как легко у нас вспыхивают подобные учреждения по наитию сильных лиц и как скоро они гаснут, не оставляя по себе животворного следа, когда эти лица исчезают или сходят с своих высоких ступеней, можно судить по тому, как недолго продержались наши провинциальные библейские общества. Отчего ж это? Оттого, что эти благие учреждения вызваны были не общественною нравственною потребностью, а желанием подражать, угождать личностям.

Главная забота членов состояла в том, чтобы продать, кому бы то ни было, как можно более книг Священного Писания. Во всех домах лежала на виду, в простом кожаном или богатом переплете, Библия, в которую иной из обладателей ее никогда не заглядывал; у кого не было такой выставки, считался чуть ли не еретиком. Первый греховодник, первый взяточник, погрязшая в разных интригах женщина надевали на себя личину христианского миссионера. Деятельность по этой продаже поглощала у меня много времени, да и случалось приплачивать из своего тощего кошелька за те книги, за которые бедные ученики не могли внести денег.

Заботы тогдашнего христианнейшего Казанского университета и, по примеру его, подведомых ему гимназий ознаменовались еще тем, что собирали со всего города нищую братию и угощали ее трапезою, за которою прислуживали ученики. В каком положении застал я пензенскую гимназию, описал я в статье: «Материалы для биографии Белинского», напечатанной в «Московском вестнике» 1859 года. Должен здесь прибавить, что с предместником моим мы разошлись в самых

лучших отношениях. Это был старик чрезвычайно высокого роста, с огромными седыми усами, с бараньими, вставными зубами, с жесткою, нетерпеливою речью, с длинною тростью, которой стука боялись ученики. Несмотря на его странности, нельзя, однако ж, было не уважать его за честную жизнь, за самостоятельность характера, которую не могла сломить бедность. Дочь его, не первой молодости, но с наружностью, в которой проглядывала сквозь резкие черты доброта души, сносившая безропотно и гордо свою печальную участь, еще более возбуждала во мне это чувство уважения. Чета эта, без всяких общественных связей, без всяких надежд, одинокая в мире, державшаяся за слабую нить жизни только привязанностью одного к другому, так и просилась в роман.

Едва успел я, так сказать, осмотреться на новом месте, сделать кое-что в пользу учебных заведений, мною заведываемых, и приобресть доверенность пензенского общества, как попечитель поручил мне следствие в саратовской гимназии по одному скандалезному происшествию между учениками ее, и вместе с тем назначил меня визитатором училищ Саратовской губернии. Обыкновенно такие поручения давались профессорам университета, и потому необычайная доверенность, мне оказанная помимо их, возбудила против меня их недоброжелательство, которое они впоследствии старались доказать на деле. Между тем, еще до моего приезда в Саратов, тамошний директор училищ Ч. был уволен от должности за слабое управление гимназией. Происшествие было представлено высшему начальству в ужасающих размерах как опасное для государства проявление антирелигиозного духа в юношестве и наставниках, чего и чутьем не слышно было. Я нашел только гадкую шалость нескольких мальчишек, конечно, непростительную, за которую и взыскание было сделано мною соразмерно степени вины, как с мальчишек. Нравственное же настроение учителей было безукоризненное, да и учебная часть в саратовской гимназии была в лучшем положении, чем в пензенской. Окончив следственное дело и распутав важные денежные счеты, с которыми связан был тогдашний губернатор П. по покупке у него дома для гимназии, я принялся обозревать низшие учебные заведения. Помнится, уездных училищ в Саратовской губернии, этом гнезде раскольников, было только три. В Царицын я приехал 1-го марта по Волге, окованной льдом. Во время пути сопровождало меня клегтанье орлов, описывавших над головою моею широкие круги, как будто бы с недосягаемой для человека высоты они трубили над ним свое торжество. Тут же кстати посетил я колонию гернгутеров, Сарепту, полюбовался там

оригинальным устройством общества, которое, однако же, по мнению моему, может существовать только в небольшой общине, да и здесь, с духом времени, первоначальный устав колонии постепенно изменяется; полюбовался на пути довольством, чистотою, нравственно-религиозным образованием и вообще гражданским развитием немецких колоний. С грустью видел я контраст их в русских деревнях, бок о бок с ними встречавшихся. Надо и то сказать: в одних жили люди свободные, собственники, огражденные разными привилегиями и самоуправлением, а в других, большею частью, люди отупевшие под разным гнетом. По возвращении в Саратов, я посетил Вольск в самый разлив небольших рек. В это время езда туда, и по почтовому тракту, становится чрезвычайно трудна, местами и опасна. Воды стремительно прибывают, так что дороги заливаются в несколько часов, мосты поднимает, и надо делать объезды далеко кругом, часто по вязким черноземным пашням, или не иначе пускаться по разливам, как вслед за передовым конным, обязанным разведывать, можно ли за ним проехать безопасно экипажу. Иногда приходилось на утлой ладье, с тройкою и экипажем, лавировать по водам между кустами. Случилось даже однажды, что во время такого путешествия у одной лошади задние ноги были в воде, а передние в лодке, а люди становились для равновесия на другую сторону, чтоб она не захлебнулась. Можно судить, как приятна такая езда. Такова она была в прошедшее время; полагаю, что она не изменилась к лучшему и ныне в стороне от железных дорог и шоссе. Теперь устройство побочных путей сообщения и наблюдение за ними поручают земству, и от его разумных и энергических распоряжений мы вправе ожидать, что не будем вязнуть в топях, как вязли не только крестьянские клячи, но и извозчичьи лошади-богатыри на всех проселочных дорогах России. Когда я возвращался из Вольска, воды быстро сбывали, жадно поглощаемые Волгою, которой половодье держится в самых грандиозных размерах до первых чисел июня. Вольск, когда я посетил его, был маленький городок, декорационно созданный золотым жезлом откупщика Злобина. Этот волшебник на скорую руку выстроил на берегу Волги, только для виду, множество каменных высоких домов, которые и принимались в залоги по винным откупам, и которые со смертью его, или по миновании в них надобности для этой операции, большею частью, в мое время представляли одни необитаемые стены без окон и дверей и проч. По оврагам и косогорам лепились избушки и пещерки, едва прикрытые дранью. Это, как мне сказали, кельи беднейших из Вольских изуверов, питающихся пособиями их богатых собратов и за то обязанных поддерживать

раскол и помогать их тайным проделкам. Здесь я мог сделать сравнение двух обществ — сарептских гернгутеров и Вольских раскольников. В конце весны посетил я живописную Зубриловку (упоминаемую нередко в «Воспоминаниях» Вигеля), в которой находился женский пансион, содержавшийся на счет владельцев ее, князей Голицыных. По моему мнению, такие женские пансионы, удаленные от городов, в местностях, где нет над ними постоянной учебной инспекции и надзора родителей и общества, не должны быть терпимы. Правительство это доказало в сороковых годах, отказав тверскому помещику Ртищеву в основании женского пансиона в его богатой усадьбе, доходы с которой он предлагал на содержание заведения.

Какой благословенный край эта Саратовская губерния! Есть в ней девственные земли, от века не тронутые сохою. Здешняя флора богата такими дарами, которые могли бы украсить наши сады; энтомолог может собрать здесь, особенно на восточном берегу Волги, сокровищницу бабочек, которых разнообразною красотой не налюбуешься.

По возвращении моем в Пензу, попечитель писал мне: «Получив с удовольствием донесение ваше об осмотре саратовской гимназии и подведомых ей училищ, усматриваю, что поручение мое исполнили вы наилучшим образом. Отдавая полную справедливость трудам вашим, усердию к службе и основательным сведениям по управлению учебными заведениями в христианском духе, мне весьма приятно уверить вас, милостивый государь мой, заранее, что не премину ходатайствовать, дабы отличные заслуги ваши были награждены примерно. Между тем предлагаю вам место директора казанской гимназии, и в случае вашего на сие согласия, прошу поспешнее уведомить меня».

Заметьте слова: «в христианском духе». Уж, конечно, в этом духе, потому что я исполнил мои обязанности по долгу совести. К этой заметке надобно присовокупить, что я не только примерной, и никакой награды не получил. Письмо было от 18-го марта 1823 г. Означаю числа, чтобы показать фазисы расположения ко мне Магницкого.

Жаль было мне расстаться с моими учениками, с учителем П., в котором я нашел не только прекрасного наставника (впоследствии руководителя Белинского), но и прекрасного человека, оставшегося до сих пор моим другом, — с пензенским обществом, которое меня полюбило, с живописною Пензой, с драгоценною для меня могилой; но мне, при недостаточном состоянии, предстояли в Казани выгоды по увеличению моего скудного жалованья, и я дал свое согласие.

Не прошло месяца с этого письма, как я получил от попечителя официальную бумагу от 13 июня 1823 г., за № 846, следующего содержания:

«Государь император, по докладу господина министра духовных дел и народного просвещения, высочайше повелеть соизволил назначить Казанскому университету, вместо штатной его суммы, оброчные статьи, в ведении казенных палат находящиеся, в губерниях Казанского округа, по моему избранию. Прилагая при сем список предварительно избранным мною статьям по Пензенской губернии, я прошу вас, милостивый государь мой, собрать о них подробнейшие и, сколько возможно, положительные сведений на самом месте отдачи их в оброк, или от людей, совершенно знающих истинный доход каждой из сих статей.

Сведения сии должны состоять в следующем:

1) Какой выгоды может ожидать университет Казанский от оброчных статей Пензенской губернии, когда получит их в свое ведение, независимо от платы, ныне содержателями их вносимой, которую можно узнать под рукою в казенной палате.

2) Сколько получает содержатель оных действительного дохода?

3) Тот ли содержит статью, кто заключил на сие контракт, или передана она другому, чрез сколько именно рук и по какой цене переходила?

4) О мельницах вы в особенности удостоверитесь, верна ли опись казенной палаты, то есть столько ли поставок находится при мельнице, как показано в описи, и в каком она положении, то есть новая или ветхая.

5) Рыбные ловли должны быть описаны с такою же точностью, как в рассуждении выгоды их, так и относительно дохода, ныне содержателями оных собираемого: ибо ежели бы оказалось в некоторых уездах, что крестьяне не имеют на душу узаконенной пропорции земли, то вместо оной могут быть взяты все без исключения мельницы и рыбные ловли. Для сведений, кои нужно будет получить в уездах, вы можете отправиться на основании 78 Устава учебных заведений.

Впрочем, вы ограничитесь осмотром только означенных в списке статей; но ежели узнаете от себя другие, лучшие, то для блага университета доставьте мне о них подобные же описания.

Ежели посредством вашим значительно, — я разумею вдвое или более противу настоящей цены, — может подняться оная, то усердие ваше я доведу до сведения господина министра духовных дел и народного просвещения и буду просить его сиятельство о представлении его императорскому величеству.

Попечитель Казанского учебного округа

Михаил Магницкий.»

Можно судить по этой бумаге, как важно было поручение, мне сделанное, с какими затруднениями оно было сопряжено и какого доброжелательства должен был я ожидать от лиц, заведовавших оброчными статьями. Однако ж смущаться и раздумывать было некогда: во главе послания стояло имя, перед которым расступаются все затруднения, и я принялся ретиво исполнять это поручение, которого мысль, вероятно, принадлежала горячей, эксцентрической голове Магницкого. Так сужу, потому что эта мера не касалась ни одного учебного округа, кроме Казанского.

Пустившись, как новый Язон, отыскивать для университета золотое руно, и запасшись под рукой, вооруженною магическим жезлом, делающим в мире чудеса, некоторыми основными сведениями, я признал за лучшее отправиться на самые места оброчных статей. Беседуя с крестьянами, как простой путешественник, я узнал, что мне нужно было знать, лучше и вернее, нежели мог бы это сделать от чиновников, заинтересованных в этом деле. Следствием моих разысканий было донесение попечителю, что если исполнение предполагаемого поручать людям, которые будут более хлопотать о пользе казны, нежели своего кармана, то оброчные статьи могут дать без сравнения высшую цену (не помню, какая была мною означена), чем они дают ныне. Но все мои труды и даже расходы по моему путешествию, не вознагражденные ничем, пропали даром. Поступил ли тогда новый министр финансов, не любивший играть в проекты, и нашел дело, затеянное Магницким, неудобоисполнимым, — мне неизвестно; знаю только, что предположение и осталось предположением. Чтобы не начинать его напрасно, стоило только сообразить, как удобно было бы членам министерства народного просвещения заниматься учебною частью и заведовать оброчными статьями. Что ж делать? Кошке игрушки, а мышке слезки.

Сибирский генерал-губернатор М.М.Сперанский, в приезд свой в Петербург, посетил sa bonne ville de Penza{4}, где он за несколько лет был губернатором и заведовал губернией, как могучий кормчий, водивший прежде государственный ковчег по морям и посаженный на лодку, плывущую по водам тихой речки. Ему, кстати, нужно было распорядиться богатыми землями, незадолго до того пожалованными ему в Чембарском уезде. Это был новый залог возвращения ему милостей государя. Можно судить, с каким усердием все чины в губернии, от большого до малого, старались угодить ему в этом деле. Его любили в Пензе за добро, сделанное им многим во время управления губернией,

понимали также, что он снова государственная сила, которую уже трудно вновь поколебать, и потому чувства любви и личного интереса привлекли к нему толпы посетителей-поклонников. Целый день осаждали его просьбами, словесными и письменными. Не отказал он никому в своем ходатайстве и покровительстве, ни один проситель не отошел от него не обласканный и не обнадеженный. Отъезд его сопровождался всеобщими благословениями. Зато, по выезде его из Пензы, в камине его квартиры жгли целые ворохи прошений и докладных записок. Вероятно, самые уважительные из них взял он с собой. На обеде у помещика Мартынова он подошел ко мне. Я в это время сидел и при первых словах, ко мне обращенных, привстал, но он дотронулся до моего плеча, понуждая меня опять сесть, чего я, однако ж, не исполнил. Говорю об этом для того только, чтобы показать, как безделицы характеризуют иногда человека. Он сделал мне несколько вопросов о состоянии гимназии, сказал мне несколько одобрительных слов. Ни слова о Магницком. В жизни этого государственного человека была целая поэма, и потому можно судить, с каким чувством смотрел я на его умное лицо, с поникшими глазами, слушал его приветливую речь. Какие лучи царских милостей, едва ли не дружбы, озаряли некогда его обнаженную голову, какая ужасная гроза разразилась над нею!

Определенный директором казанской гимназии, которая тогда именовалась императорской, в память того, что ее основал император Павел Петрович, едва ли не в посещение свое Казани (тогда же подарена была ей богатая библиотека князя Потемкина-Таврического, перешедшая потом в университет), я отправился в начале следующего лета к месту своего назначения. Во время пути меня окурял, как будто против миазмов, ожидавших меня в Казани, медовый аромат гречневых полей, расстилавшихся на несколько десятков верст. По нескольким станциям я мчался как вихрь на лихих татарских конях, управляемых бешеным татарином-ямщиком. Казалось, я не чувствовал расстояний.

Вскоре по приезде моем в Казань поручена мне и должность директора училищ губернии с двойным жалованьем, по этому месту и месту директора гимназии, — новый знак особенного внимания ко мне попечителя. Ни прежде, ни после меня никто не занимал этих мест в одно и то же время.

Осенью 1825 года приехал в Казань Магницкий. После предварительных экзаменов в гимназии, продолжавшихся несколько дней и ежедневно им посещаемых, происходил торжественный акт. Читая отчет об управлении гимназии за академический год, я окончил его следующею речью (напечатанною впоследствии во II части «Славянина», журнала,

издававшегося Воейковым): «При этом торжественном случае могу ли я умолчать об одном из приятнейших предположений наших? В то время, когда единодушным соревнованием наших соотечественников по всему протяжению России возносятся памятники великим мужам ее: Ломоносову на берегах Двины, меценату Демидову[7] в стенах Ярославля, герою Донскому на полях Краснохолмских, Ришелье у вод Черного моря, — и то самое время, когда благодарность не есть только долг, а собственное наше удовольствие и слава, останется ли казанская гимназия равнодушною к памяти Державина, получившего в ней начальное образование? Здесь гений долго испытывал силы свои; здесь одобрение наставников было первым лавровым листком того венца, которым со временем почтило его восторженное отечество. Отсюда, прозирая свое будущее поприще, вышел он на первые опыты славы. Смело можем сказать: Державин был наш воспитанник. Кому же уступим честь первенства в почтении достойным образом памяти великого? Я полагал бы воздвигнуть ему здесь приличный памятник с его изображением и надписью: „Воспитаннику своему Гавриилу Романовичу Державину казанская гимназия“. За усердное выполнение этого дела ручается мне любовь к просвещению почтеннейших сочленов моих и, конечно, здешних сограждан, которых в сем случае предупредил я только словом, а не чувствованиями». Присутствовавший на акте управлявший тогда губернией, А.Я.Жмакин, объявил тут же, что он готов собранием пожертвований осуществить предположение мое в случае соизволения на то правительства. Последствия известны: памятник Державину стоит на площади против университета. Горжусь, что я положил первый камень в основание этого памятника.

При выходе с акта попечитель горячо благодарил и обнимал меня, и тут же предложил мне место инспектора студентов в университете. Вскоре в «Московских Ведомостях» изъявлена мне благодарность за отличное устройство гимназии. Как я ни отговаривался от предлагаемой мне должности, как я ни представлял, что буду полезнее на прежнем своем месте, Магницкий настаивал, чтоб я занял ее; скрепя сердце я должен был повиноваться. Инспектором был тогда Г.Ф.Вишневский, благородный, добрый, истинный джентльмен по своей жизни и в обращении с студентами. Его жена, урожденная Еропкина, умная, примерная мать, нежная спутница его жизни, в которой они испытали много невзгод, содержала женский пансион, прекрасно устроенный, с целью оградить свое семейство от нужды и дать приличное воспитание детям. Негодовал ли попечитель на

мягкость характера Вишневского, или по другой причине желал его удаления, — мне неизвестно. Он не был еще уволен от должности инспектора, и мне поручено было пока исправление ее; следственно, я поступал на место, которое еще было номинально занято.

Я переехал в университет, и за мною затворились двери в светлый мир моей жизни.

Магницким сделано было много на увеличение и украшение зданий университета, на устройство церкви (по образцу домашней князя А.Н.Голицына в Петербурге), библиотеки, физического кабинета, обсерватории, одним словом, все — что можно было сделать денежными средствами, щедро ему отпускаемыми. И это все осталось бы навсегда памятником попечительства его, если бы в этих сооружениях не вмешались расчеты, о которых, основываясь на фактах, упоминает г. Феоктистов в своей статье. Что до меня, то я, по своей должности не вмешиваясь в экономические дела университета и не стараясь разведывать темные пути, которыми они проводились, не скажу ничего ни за, ни против. Правда, у Магницкого был чиновник, правая рука его, который любил занимать деньги, и, когда кредиторы напоминали ему о долге, старался чем-нибудь отметить им. Если б я не боялся резко выразиться, я упомянул бы при этом французскую пословицу: «Tel maitre tel valet»{5}. Здание университета соответствовало своему назначению, но чтоб эти палаты, эти камни, прекрасно сложенные и изукрашенные, можно было в самом деле признать тем, чем они на фронтоне титулуются золотыми буквами, надо, чтобы дал им высокий смысл животворный дух прогресса, чтобы юноши, посещающие аудитории, находили в них для ума и сердца здоровую, с потребностями времени и успехами наук обновляемую пищу. Что ж если для утоления голода хочешь припасть к груди матери, а тебе предлагают коровий рожок, хоть бы и в золотой оправе, с прокислым молоком.

С попечительством Магницкого была учреждена и новая должность директора университета. До меня занимал ее медик Владимирский очень недолго. Прекрасный сначала, он через несколько месяцев никуда не годился. Люди переставлялись, как шашки в руках опрометчивого игрока. На его место поступил доктор медицины и хирургии, надворный советник Трифон Егорович Л-ров. Хирургические операции он вздумал делать и над университетом. Раздражительный от природы и по болезни, он по временам доходил до исступления. Говорили, что он родом из южных славян, но в нем были все инстинкты их южных соседей. Он постоянно употреблял опиум в сильных приемах. В

один из пароксизмов своего раздражения он прописал себе такую ужасную дозу, что аптекарь не решился отпустить ее без рецептуры официального врача Фукса (который был и ректором университета). Можно судить, как приятно было мне находиться в ежедневных сношениях с такою личностью. Расскажу только один пример его любезного обращения со мною. Раз я как-то заболел и послал к нему вместо себя своего помощника, надзирателя, служившего и соглядатаем за моими действиями, с ежедневною рапортичкой. Взбешенный, что не я сам пришел, и не разбирая причины, по которой я не мог прийти, он приказал моему помощнику сказать мне, что он плюет на мои рапортички. Этого я не мог вынести; хотя больной, я оделся, отправился к нему и расквитался с ним по правилам Ветхого завета... после чего ему так не поздоровилось, что он был вынужден прибегнуть к усиленному приему опиума. Через месяц, два, он пошел к праотцам своим.

Уже до меня в университете была ломка всему, что в нем прежде существовало. Начальники, профессоры, студенты, все подчинялось строгой клерикальной дисциплине. Науки отодвинулись на задний план. Гонение на философию доходило до смешного фанатизма, если фанатизм, в чем бы он ни проявлялся, может быть когда-либо смешон. Например, во всех аудиториях на кафедрах вычеканен был золотыми буквами текст, приноровленный против этого злохудожественного учения. Руководства немецких ученых, как растлевающие душу, были изгнаны из университетских курсов; преподавание многих учебных предметов, основываясь на богословских началах, как будто готовило студентов в духовное звание. Профессор русской литературы читал большею частию духовное красноречие; образцом слога, по предложению попечителя, служили некоторое время Четьи-Минеи. Имена Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Пушкина не смели произносить на лекциях. За то, что профессор всеобщей истории строго придерживался подобных начал и читал ее по Боссюэту, он прозван был русским Боссюэтом. Также и несколько других профессоров облечены были в почетные имена европейских ученых, — имена, которые так же шли к тогдашним казанским знаменитостям, как бородачу-прасолу кафтан маркиза или султана кардинала. Профессор поэзии, добрый старичок, в иссохшей голове и сердце которого не было и чутья поэзии, почитатель не только Хераскова, но и графа Хвостова, удостоился названия пресловутого во время оно французского литературного законодателя (не помню хорошо, Лагарпа или Боало, которого он перевел несколько сатир). На лекциях его разбирали одни переложения псалмов. Только с увольнением Магницкого он

дерзнул написать и напечатать в «Казанском Вестнике» пасторальное стихотворение в подражание идиллии И.И.Дмитриева, кончавшееся стихом: «Ты рвешь цветы с ее могилы». С каким восторгом подал он мне нумер журнала, в колыбели которого почивало это новорожденное дитя, и, потирая себе руки, сказал: «Вот-ста каковы мы теперь», как будто посягнул на отчаянный подвиг.

Долгом почитаю оговорить, что и в мое время, помимо бездарностей, были достойные преподаватели и ученые, служившие науке с любовью и пользою, как-то: медики Фукс и Лентовский, естествоиспытатель и археолог Эйхвальд, ориенталисты Казембек и Эрдман, астроном Симонов, математик Брашман. Говорили, что профессор математики, Лобачевский, пишет какой-то курс этой науки, долженствующий сделать в ней громадный переворот; но, когда издан был этот курс, оказалось, по суждению компетентных критиков, что гора родила мышь. В одно время был любимцем Магницкого француз Жобар, знаменитый борьбою с ним, утомивший своими жалобами трех министров: князя Голицына, Шишкова и графа Уварова до того, что ему велено было выехать из России. Бешеный его характер свернул ему голову, умную, начиненную хорошими познаниями. Г.Феоктистов достаточно упоминает о нем в своей статье. Лектор немецкого языка К., ловкий человек, бывший прежде католиком, потом лютеранином, перешел наконец в православие. Церемония миропомазания была торжественная. Магницкий, бывший недаром его крестным отцом, исходатайствовал ему Владимирский крест 4-й степени. Не только студенты, даже профессора воспитывались в строгой дисциплине. «Вы жалуетесь, — говорил мне профессор Никольский, подняв руку и сложив три пальца в виде благословения, между тем как в душе своей ненавидел меня, — вы жалуетесь, государь мой, что ныне служба здесь тяжела. Посмотрели бы, что было до вас». И начал он мне поведывать чудеса только что минувшего времени. За профессорами наблюдали, чтоб они не пили вина. Из числа их, некоторые весьма воздержанные, но привыкшие перед обедом выпивать по рюмке водки, в свой адмиральский час, ставили у наружных дверей на караул прислугу, чтобы предупредить грозу нечаянного дозора. Таким образом, прислушиваясь к малейшему стуку и беспрестанно оглядываясь, преступник дерзал ключом, привешенным у пояса, отворял шкап, где, в секретной глубине, хранилось ужасное зелье. У одного из ученых мужей, которому прописали вино в микстуре, был директором, внезапно посетившим его, запечатан сосуд, вмещавший в себе запрещенное питье. Медик, осмелившийся прописать такое лекарство, равно

как и пациент его, остались на замечании. Только один доморощенный Боссюэт, настоящий революционер против магометова кодекса, не являлся на лекции по целым неделям. На торжественных университетских обедах, и в мое время, пили тосты не шампанским, а медом. Студенты подчинялись строгим монастырским правилам. Не говоря об общих утренних и вечерних молитвах при восстании от сна и отхода ко сну, везде в учебных заведениях соблюдаемых, произносились еще молитвы перед завтраком, обедом и ужином и после них. За завтраком дежурный студент читал вслух духовную книгу, за обедом тоже, за ужином тоже, и все это при неминуемом стуке тарелок, ложек, ножей и вилок, при разносе прислугой кушаньев. Прекрасные, святые слова непременно ударяли в слуховой орган, в нем и пропадали, потому что нельзя было в одно время слушать внимательно и утолять голод. Много ли этих слов в эти часы пали на сердца слушателей? Все, что для молодых людей должно было быть духовною потребностью, делалось уже докучным бременем, противно словам божественного учителя: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Студент, ставивший свечи к образам и клавший большое число земных поклонов, был на замечании отличного. Всякий здравомыслящий человек убежден, что нравственно-религиозные начала должны быть поставлены в основание всякого воспитания, необходимы на всех путях жизни, но разве эти начала не могут ужиться мирно с науками, разве должны вытеснять их из учебных заведений? Обстановка карцера и дисциплина для содержащихся в нем доставили бы богатые сюжеты для кисти Гогарта[8]. С удовольствием могу сказать, что ни один студент не был посажен мною в это чистилище. От стен университета, хотя и обновленных, веяло каким-то холодом, какою-то гнилью старых аббатств. К чести студентов моего краткого инспекторства я должен сказать, что не слыхал ни об одном буйном или безнравственном поступке их. В это время прибыли из Виленского университета в Казанский трое студентов-филомафитов[9]: Ковалевский, Верниковский и еще третий (не помню его имени). Что сделалось с двумя последними, не знаю. Ковалевский составил себе почетное имя как профессор восточных языков. Он смотрел тогда красною девушкой. Все они с любовью предались науке. Одну участь с ними имел Мицкевич и другие виленские студенты-филомафиты, но ему дарованы были особенные льготы... С ним я познакомился у издателя «Телеграфа», Н.А.Полевого{6} (помнится, в 1829 году), когда этот жил на 1-й Мещанской. Мицкевич не походил тогда на врага России: казалось, воды не замутит. Прибавьте к монастырской жизни, на которую я был обречен, нездоровую местность и

нездоровые воды Казани. Волга отстоит от города в шести верстах, следственно, доставка из нее ежедневно воды чрезвычайно затруднительна, да и сопряжена с большими расходами. Разливаясь в половодье до самого города и входя в берега только в июне, она образует на этом пространстве настоящие Понтийские болота, которые в жаркое время гниют и издают миазмы, заражающие воздух. Этим испарениям обязаны жители сильными лихорадками, имеющими, особенно для приезжих, худые последствия. С другой стороны города — тоже болота. Остается казанцам довольствоваться водой из озера Кабана, где летом купают лошадей и куда зимой свозят всякую нечистоту. Как здорова она, можно судить по зеленым шапкам, всплывающим на ней, когда ее кипятят, и по роям зеленых букашек, появляющихся в ней, когда она постоит в сосуде хотя четверть часа. Тогдашний главноуправляющий путями сообщения, принц Виртембергский, приезжал до меня в Казань для осмотра тамошней водяной местности и вместе с тем хотел приискать средства помочь этому бедствию. Его поместили в доме клуба, где он имел удовольствие слушать за стеной стук биллиардных шаров. Это неловкое помещение так рассердило его, что он сказал при отъезде: «Жители Казань свинья, а короший вод им дам». Впоследствии составлено было много проектов, чтобы провести воду из источников, находящихся в нескольких верстах от него; если не ошибаюсь, Казань до сих пор не имеет «короший вод». Прибавьте к этой невзгоде и ту, что во время дождей при мне была на улицах грязь непроходимая, и надо было ездить в легковом экипаже не иначе, как тройкой, а на одной из торговых площадей, кажется на Сенной, случались утопленники в грязи. В сухое время поднималась тонкая пыль, которая проникала во все щели и облекала все предметы в комнатах пепельным саваном.

Что сказать о тогдашнем казанском обществе? Провинциальная аристократия, казалось, оградила себя каменной стеной от ученых плебеев, из которых большая часть и сама, по образу своей жизни, избегала проникнуть через нее. Я посещал только два-три дома, не великосветских, но радушных, приятных. Еще сквозь туман нескольких десятков лет, среди казанских болот выступает для меня, как цветущий оазис, дом г-жи Геркен, вдовы с несколькими дочерьми, милыми, умными, образованными. В кругу их я отдыхал сердцем и головой от мрачной университетской жизни. Если кто-нибудь из членов этой семьи ныне живет в Казани, то я прошу его снести мой сердечный поклон на могилу их матери и принять от меня горячую благодарность за те прекрасные часы, которые я провел в их

доме.

Редко, редко когда, бывало, услышишь слово о литературе, и то робко, как о запрещенном плоде. Во время моего пребывания в Казани появились два яркие явления: одно атмосферическое на небе, с ужасным треском и гулом, другое на земле, литературное. Одновременные, если не одночасные, они смутили сердца старых барынь и наших аскетов, и, по словам их, предвещали несчастия, едва ли не преставление света. Литературное — была бессмертная комедия Грибоедова. Она появилась здесь в рукописи. Между молодым поколением ее вырывали из рук, хотя, как запрещенная, она жгла их, списывали по ночам, в несколько дней знали наизусть. Горе было бы тому, у кого она попалась бы на глаза университетской полиции!

Театра номинального не было тогда в Казани, но разыгрывались в обществе и оперы, и комедии, и трагедии благородными актерами. Местность губернии представляла такую великолепную сцену, какой не могла представить другая; артисты были мастера своего дела. При мне была особенно в ходу волшебная опера: Дровосеки. Поднимается занавес. Декорации представляют друидические, вековые, дубовые леса. Мрак их и тишина обхватывают вас ледяным холодом. В глубине сцены возвышается холм и на нем каменный идол, безобразно иссеченный. Вдруг тишина и уединение нарушаются приходом толпы Чуваш, Мордвы, Черемис, сооружается огромный костер; жрец начинает свои волхвования, костер пылает, и на него падают закланные животные жертвоприношение грозному богу. Дикое пение, дикие пляски. Среди этого ликования раздается более стройный хор. Дикари в тревоге: они почуяли, что идут новые господа этих лесов, и в страхе разбегаются. Являются на сцену толпы русских крестьян с топорами и секирами; во главе их идут вожди в одеждах образованных стран. По ритурнелю одного из них блещут разрушительные орудия и падают вековые деревья. Стук топоров, жалобный стон маститых лесных старцев, преклоняющих голову свою пред стопы победоносных пришельцев, живые возгласы рабочих, — все это прекрасно выражено в обворожительной для слуха музыке. Но, о диво! из корней деревьев сочится золотой песок. То страх, то радость изображаются на всех лицах. Работники и начальники ощупывают золото — оно не жжется. Тут начинается дележ ниспосланной небом добычи. Он исполняется без крику, без драк, соразмерно ступеням иерархической лестницы. Карманы, мешки, из которых вынуты съестные припасы, набиты драгоценным металлом. Благодарственная молитва довершает этот дележ. Но прежде чем разойтись, главный начальник произносит волшебный пароль. На

холме воздвигается новый костер и на нем из блестящего песку, оставшегося на корнях деревьев, выливается золотой телец.

Разыгрывалась при мне и трагедия. Героем ее был обер-страж лесов, из поляков, Не-ский, и я знавал его по службе в гренадерском корпусе, как бедного офицера. Он дослужился до майорства, и, квартируя в Тульской губернии, своею статною, молодецкою фигурой пленил сердце дочери одного из тамошних помещиков, не очень молодой и не очень красивой, получил ее руку с 30 000 придачи, вышел в отставку и приобрел себе место сберегателя лесов Казанской губернии. В благодарность жене за тепленькое местечко, он полосовал и душил несчастную арапником, который равно употреблял на жену и собаку. Под его начальство поступил унтер-страж лесов Казанского уезда, NN. Через месяца два по определении его, обер призывает его к себе и в строгих выражениях напоминает ему, что пора выполнить известные обязанности. Подчиненный в смиренных выражениях докладывает, что он издержался и не успел еще в такое короткое время скопить требуемую акциденцию. Начальник решительно объявляет ему, что если он в 24 часа не принесет, то будет удален от должности и предан суду. Исполнить эту угрозу было легко: грехи, на которые, может статься, и покусился уже NN, а если еще не покусился, то грехи его предместника, которые легко было свалить на него же, могли быть тотчас найдены в первом лесу уезда. Несчастный, не имея в наличности денег и не найдя их в 24 часа, испугался уголовного суда, его ожидавшего, пришел домой и застрелился в своем саду. Но вот и сцена более веселая. Я знавал одного русского мейстера или мастера, который от избытка денег, падавших на него как манна небесная, не зная куда их девать в маленьком городке и от скуки, поил шампанским во всякое время дня и ночи всякого посетителя, был ли то плебей, или благородный. Он служил в лесной глуши, а в глуши-то и привольное житье: тишь, да гладь, да божья благодать; знай только свои урочные обязанности.

Думали ли господа, о которых упоминаю в этой статье, что чрез несколько десятков лет сыщется отшельник, который в своей бедной келье, подобно пушкинскому монаху Пимену, будет описывать их темные деяния. Благодаря обновлению России, эти деяния могут ныне выйти из-под спуда, под которым они были похоронены. Может быть, и теперь есть такие отшельники-летописцы, записывающие, под диктовкою грозной Немезиды, черные дела своих современников. Да и то сказать: пиши и пиши, кричи и кричи, «а Васька слушает да ест».

Кстати, к лесам и темным деяниям. В городе отстраивался дом, бывший под военным ведомством. Раз приезжает ко мне Не-

ский в каком-то необыкновенном смущении.

— Сейчас был у меня начальник (такой-то), — говорит он мне, — и требовал от меня значительное количество разного леса без письменного законного требования, без разрешения моего начальства.

— Что же вы сделали? — спросил я его.

— Сначала отказал, — отвечал мне Не-ский, — а потом дал. Он сказал мне одно магическое слово: «Аракчеев», и я приказал отпустить; в противном случае мне угрожало удаление от должности.

Строители получили благодарность за усердие и соблюдение значительной экономии; Не-ский еще тверже стал на прежнем месте.

Магницкий был в Петербурге. В это время стали приходить оттуда и разноситься у нас вести, что он отшатнулся от бывшего своего покровителя, князя А.Н.Голицына, и вместе с Аракчеевым, под крыло которого перебежал, начал действовать против него разными интригами. Еще в бытность свою в Казани он стал холоднее относиться о князе и горячее о графе, с которым будто бы затевает новое христианское общество. Христианское! Едва ли не в то время, когда владыка Грузина ходил обвязанный платком[10], смоченным в крови своей любимицы, которую зарезали крепостные люди, не вынесшие ее тирании. Едва ли не в это же самое время написал Магницкий свой знаменитый сон в Грузине. Вероятно, под покровом господствующей тогда силы он стремился на место другой, колеблющейся. Честолюбие ослепило его.

Скончался император Александр Павлович; на престол вступил новый государь. Быв еще великим князем, он видел, как без лести преданный во зло употреблял царское доверие и возбуждал против себя всеобщую ненависть. Участь Аракчеева была решена. Помню еще живо резко-замечательный вечер (директор Л-ров был тогда). Я сидел в своей комнате в нижнем этаже университета. Студенты уже спали; кругом царствовала глубокая тишина. Вдруг слышу какую-то тревогу, все в доме засуетилось, дежурный надзиратель прибегает ко мне и дрожа, вполголоса, объявляет мне, что приехал неожиданно попечитель, в сопровождении полицейского чиновника...

Несколько дней не принимал он к себе никого, кроме своих интимных. Наконец, я явился к нему. Он принял меня сухо, холодно; мутные глаза его выражали мне какое-то недоброжелательство...

Что было особенно причиной этого обращения со мною, я до сего времени не знаю. Догадываюсь только, что вскрыли мое

письмо, где я описывал некоторые эксцентричности его управления университетом, и письмо было им прочитано; может быть, он узнал, что я ел скоромное в постный день или что-нибудь подобное.

Министр не согласился уволить инспектора Вишневского; он поступил снова на свое место после четырехмесячного моего инспекторства, показавшегося мне годами. В это время я получил от попечителя московского учебного округа, Писарева, приглашение служить под его начальством. Обращаюсь к Магницкому с просьбой уволить меня в отпуск; он мне решительно отказывает, и, когда я спрашиваю о причине этого отказа, наотрез и даже с сердцем отвечает: «Не отпускаю, и только». Я несу тяжелое ярмо его неудовольствия и ограничиваюсь должностью директора училищ.

Магницкий пытается еще раз съездить в Петербург, и так же неблагополучно возвращается назад.

Во дни своего падения он предается мистическим галлюцинациям, спит на медвежьей шубе, разостланной на полу, рассказывает своим приближенным, как посетила его в прошедшую ночь пресвятая дева и пр. Приезжает ревизор, генерал Желтухин; попечитель уничтожен. Он высылается на житье то в Ревель, то в Одессу или Херсон и влачит жизнь свою не сопутствуемый ничьею любовью, кроме родных, ничьим сожалением. А сколько мог бы он сделать добра, сколько благотворного света мог бы он, по своему уму и образованию, разлить на свое ведомство, если бы не увлекли его на ложный путь эксцентрический его характер и ложное честолюбие. Спрашивают меня, действительно ли он был по убеждению фанатик? Да, он был фанатик, когда думал этим выиграть у сильных лиц; не знаю, чем бы он был, если бы ветер подул на него с другой стороны.

Еще одно последнее сказание о моей служебной карьере в Казанском округе. За несколько месяцев до первого отъезда Магницкого в Петербург, по вызову некоторых профессоров, я представил в совет университета диссертацию для получения звания адъюнкта по русской словесности. Может быть, я устыдился бы теперь этого сочинения, но как бы то ни было, совет одобрил его и избрал меня в адъюнкты. Влияния попечителя не было никакого в этом деле, так как оно свершилось в его отсутствие. Когда обстоятельства переменились, ученый синклит университета не представил меня к утверждению в этом звании за препятствиями, ни на какой законности не основанными.

Выезжая из Казани, я с замиранием сердца взглянул в последний раз на Сумбекину башню, возвышавшуюся среди

ночного мрака над простертым перед нею городом, вздохнул свободнее и перекрестился за избавление меня из плена казанского.

Прекрасным, красноречивым словом проводил Магницкий прах Сперанского[11] в его вечное жилище. Кто из читавших это слово не помнит того места, где он описывает, как некогда бедный семинарист, с котомкой на плечах, вступал в ворота Александро-Невской лавры, и как теперь вступает он, по окончании своей славной, полезной отечеству жизни, в те же ворота графом, украшенный высшими знаками отличия, провожаемый русским венценосцем и первыми сановниками империи!

Жаль, что не могу сказать, — это была последняя лебединая песнь Магницкого.

25 октября 1865 года

notes

Примечания

1

Голицын Александр Николаевич (1773-1844) — министр духовных дел и народного просвещения. Президент Российского Библейского общества.

2

Лонгинов Н.М. — статс-секретарь, заведовал учреждениями императрицы Марии Федоровны.

3

Витберг Александр Лаврентьевич (1787-1855) — архитектор и живописец, автор проекта и директор строительства храма-памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 года, обвиненный в злоупотреблениях, был сослан в Вятку.

4

Госпожа Криденер (Крюденер) (1764-1824) — писательница, автор романа «Валерия» (на французском языке). На почве религиозного мистицизма сблизилась с Александром I.

5

Вигель Филипп Филиппович (1786-1856) — автор известных «Записок», дающих широкую бытовую картину русской жизни с характеристиками современников.

6

Лубяновский Федор Петрович (1777-1869) — сенатор, автор «Воспоминаний. 1797-1834» (1872).

7

Демидов Павел Григорьевич (1738-1821) — высокообразованный человек, много жертвовавший на нужды народного просвещения. На его средства открыты Демидовский юридический лицей в Ярославле, университет в Томске. Памятник Демидову в Ярославле открыт в 1829 г.

8

Гогарт (1697-1764) — английский рисовальщик, гравер, живописец.

9

Филомафиты (филоматы) — название студенческого общества Виленского университета в первой четверти XIX в., имевшего нравственную и научную ориентацию. Членом этого общества был А.Мицкевич.

10

...владыка Грузина ходил обвязанный платком... — Так всесильный временщик Александра I Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834) выражал скорбь по поводу убийства крепостными его любовницы Минкиной.

11

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — автор либеральных проектов первых лет царствования Александра I; был сослан в Новгород (1812) ввиду перемены политического курса правительства; с 1816 г. — пензенский губернатор, с 1819-го — генерал-губернатор Сибири, с 1821 г. занимал важные посты в Петербурге.

comments

Комментарии

1

Эту чистую, безукоризненную личность имел я честь встречать нередко в доме графа Остермана-Толстого.

2

Один приятель его, подозревавший, по прочтении моего «Басурмана», что я в Аристотеле Фиоравенти хотел олицетворить Витберга, повез меня к нему, когда он незадолго до того возвратился из Вятки, места своего временного изгнания, и жил в Петербурге на Песках в большой бедности. Гениальный художник был так снисходителен, что занялся более часа разъяснением мне идеи трехстепенного храма Спасителя на Воробьевых горах.

3

В одном из первых заседаний сейма, присутствуя на нем, я сам слышал, как один из депутатов требовал какого-то закона, касающегося численности польской армии. Будто и теперь вижу, как депутат от предместья Праги великий князь Константин Павлович, оскорбленный его неожиданною выходкой, встал во всю высоту свою и энергически заявил, что решение сделанного предложения есть дело русского правительства, а не сейма. Глубокое молчание последовало за этим ответом.

4

Свой милый город Пензу *(фр.)*.

5

«Каков хозяин, таков слуга» *(фр.)*.

6

Я доставил тогда для журнала драгоценные статьи из архива канцлера графа Н.А.Остермана, как-то: о театре при Елисавете Петровне, исполненное остроумия письмо Ломоносова к Елагину и некоторые другие, более важные.